

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Геннадий  
Прашкевич

СЕКРЕТНЫЙ  
ДЬЯК

КАЗБУКА



18+

**Геннадий Мартович Прашкевич**  
**Секретный дьяк**  
Серия «Русская литература.  
Большие книги»

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=73951347](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=73951347)*

*Секретный дьяк. романы: Азбука, Издательство АЗБУКА; СПб; 2026  
ISBN 978-5-389-33200-3*

### **Аннотация**

В творчестве Геннадия Прашкевича прошлое Сибири не просто часть нашей общей истории. Сибирь – его родина, здесь он родился, отсюда его живое, пристальное, неравнодушное отношение к тому, чем жила Россия былых времен, к чему стремилась, на какие жертвы готова была и шла, чтобы обрести те границы, которые мы имеем сегодня. В романе «Носорукий» русские казаки по приказу царя Алексея Михайловича ищут в тундре на Индигирке живого мамонта, в «Тайне полярного князца» знаменитый землепроходец Семен Дежнев вместе со своими товарищами обустроивает поселение на Погыче, «реке на краю земли, славной своей пушшиной, рыбьим зубом и серебром». Но вершина «сибириады» Прашкевича – это «Секретный дьяк», роман о трудном пути в полумифическую страну Апонию, о выходе русских на недосыгаемую Камчатку и Курильские острова.

«Все началось со случайного взгляда в школьный учебник, – рассказывает писатель об истории создания романа „Секретный дьяк“. – Поразило, что истории Сибири уделена в учебнике всего одна страничка. Набор всем известных имен – Хабаров, Атласов, Ермак. И ни слова о Стадухине, Реброве, Курочкине, Козыревском. И ни слова о Крашенинникове, Йохельсоне, Тане-Богоразе. И ни слова о других многих и многих мелких и крупных русских землепроходцах, будто, кроме разбойников Ермака и Хабарова, и похвастаться нечем. Станным, досадным мне все это показалось. Спросил себя: а что, собственно, я сам знаю о родной Сибири, исхоженной вдоль и поперек? И вдруг дошло до меня, что знаю я сам не больше какого-нибудь московского кандидата филологических наук. Поняв это, я погрузился в „Сибирику“, в миллеровские сундуки, в архивы...».

И получилась в итоге книга о великом, трудном походе, раздвинувшем пределы отечества к далекому восточному океану и утвердившем наши границы во славу Государства Российского.

Тексты произведений в настоящем издании значительно переработаны, дополнены и исправлены автором.

# Содержание

От автора	8
Секретный дьяк, или Язык для потерпевших кораблекрушение	11
Часть первая	11
Глава I	12
Глава II	46
Конец ознакомительного фрагмента.	68

**Геннадий Мартович  
Прашкевич  
Секретный дьяк  
*романы***

© Г. М. Прашкевич, 2026

© А. В. Етоев, послесловие, 2026

© Оформление

ООО «Издательство АЗБУКА», 2026

Издательство Азбука®

\* \* \*

# РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА



Геннадий Прашкевич

СЕКРЕТНЫЙ  
ДЪЯК



Санкт-Петербург

## От автора

Я рос на Енисее в небольших таежных селах, позже – в Кузбассе, на железнодорожной станции Тайга. Запах каменноугольной крошки, шлака, гудки паровозов и паровозов, звезды в зимнем небе, огни маневровых фонарей – все казалось мне вечным и неизменным. В голову не приходило, что это сюда, именно сюда, в нашу Сибирь, в край наш, еще недавно стремился Ермак Тимофеевич, где-то ставил острожки атаман Копылов, спускался из Жиганска на деревянных кочах казак Илья Перфирьев, а другой казак Мишка Стадухин изумленно сообщал с далекой реки Погычи о прежде неведомом народе – чюхчах.

Северные сияния – юкагиры зажигают огни в небе.

Все свое. Все неизменное. И только по мере взросления проявлялось, все-таки проявлялось в сознании, как на некоей обрабатываемой химикатами фотобумаге, понимание чрезвычайной давности, казалось бы, знакомой истории.

А тут что было? А тут кто жил?

И остались бы, наверное, эти мои вопросы никому не заданными, и не получил бы я на них никаких ответов, если бы не библиотеки – чудесные, потерянные в глухих селах и городках маленькие библиотеки, очень вовремя предложившие мне и «скаска» Владимира Атласова, и чудесные «описания земли Камчатки» Степана Крашенинникова, и пора-

зительные заметки из заветных «сундуков» академика Миллера. Уже не туманом незнания затягивало вечно идущее, как снег-дождь, время, не снежная пелена закрывала пространства неведомых земель, по которым кочевали дикие олешки, на которых ставили свои урасы шоромбойцы, олюбенцы, юкагиры, долгане, ламуты.

Кто мы?

Откуда?

Куда идем?

И случилось то, что не могло не случиться!

«Санька соскочила с печи, задом ударила в забухшую дверь. За Санькой быстро слезли Яшка, Гаврилка и Артамошка: вдруг все захотели пить, – вскочили в темные сени за облаком пара и дыма из прокисшей избы...» Там, в снях, пробивался в узкое окошечко лунный свет, обледенелая ручка ковшика торчала из кадки; так Алексей Николаевич Толстой писал об уже исчезнувшем прошлом, и под его пером все оживало. И даже «дикие» (на сторонний взгляд) юкагиры, ламуты, чюхчи, долгане не только на волшебные сказки оказывались мастерами; они просто жили тут, охотились, жгли костры, брали пушнину, а в их сторону уже шли и шли русские промышленники.

Как не похож мир на наши о нем представления!

Радость, изумление, дым в небо, женские возгласы, шум океанского наката – чудесно обессмысливавшиеся от удивления глаза дьяков, летописные листы мировых событий. Как

написать об этом?

Да вот же под рукой Лажечников!

Вот близкий нам, знакомый девятнадцатый век.

«Государыня села в первую карету с придворной дамой постарше; в другую карету вспрыгнула Мариорица, окруженная услугами молодых и старых кавалеров. Только что мелькнула ее гомеопатическая ножка, обутая в красный сафьяновый сапожок, и за княжной полезла ее подруга, озабоченная своим роброном».

Гомеопатическая ножка! – как тут не дрогнуть сердцу?

И я услышал! Увидел явственно.

Тундра, олешки, снежная замять, стрела в снегу.

Углы одной эпохи неуклонно вдвигались в углы другой, свет прошедшего мешался со светом приближающегося будущего. Время и пространство едины. Да, мы живем в разных эпохах – и вы, читатель, и вы, древняя старушка из соседнего дома, и вы, девчонки в косичках, и ты, слесарь из вагонного депо, и космонавт, упорно накручивающий свои орбиты над планетой, и охотник с Таймыра, – мир един.

Вот вам и гомеопатическая ножка.

Отсюда и размышления.

Отсюда и книги.

*Новосибирск, 2025*

# Секретный дьяк, или Язык для потерпевших кораблекрушение

## Часть первая Государственный секрет *Сентябрь 1721 – февраль 1722 гг*

*Уста премудрых нам гласят:  
Там разных множество светов;  
Несчетны солнца там горят,  
Народы там и круг веков:  
Для общей славы божества  
Там равна сила естества.*

*М. Ломоносов*

# Глава I

## Секретный дьяк

### 1

Осенью 1700 года (получается, к началу рассказа лет за двадцать) в северной плоской тундре (в сендухе, по-местному), верстах в ста от Якутского острога, среди занудливых комаров и жалко мекающих олешков, в день, когда Ваньке Крестинину стукнуло семь лет, некий парнишка, сын убивцы и сам давно убивца, хотя по виду и не превзошел десяти-одиннадцати лет, в драке отрубил Ваньке указательный палец на левой руке. Боль невеликая, но рука стала походить на недоделанную вилку.

В той же сендухе, ровной и плоской, как стол, под томительное шуршание осенних бесконечных дождей, старик-шептун, заговаривая Ваньке отрубленный палец, необычно и странно предсказал: жить, Иван, будешь долго, обратишь на себя внимание царствующей особы, полюбишь дикующую, дойдешь до края земли, но жизнь, добавил, проживешь чужую.

Шел дождь, отрубленный палец пронзительно дергало, но старик-шептун потихоньку снял боль.

А пророчество...

Ну разве не сказано: «Отчасти знаем, отчасти пророчествуем»?

Много чего нашептал в ту ночь старик, напугал не одного Ваньку, а все не в толк. Прошло немного времени, и Ванькиного отца, опытного стрельца Матвеева, тоже, кстати, Ивана, зарезали в тундре злые шоромбойские мужики. Как не зарезать, когда одно небо вокруг? Сидишь, дикуешь.

Добрые люди подобрали одинокого мальчишку и отправили с ясачным обозом в Москву, где волею родной тетки Елизаветы Петровны Саплиной, урожденной Матвеевой, и ее супруга славного майора (тогда еще капитана) Якова Афанасьевича Саплина Иван Матвеев-младший (записанный на всякий случай Крестининым – по матери, что понятно: стрельцы при государе Петре, Усатом, вышли из почета) начал изучать по Псалтирю грамоту и в короткий срок проявил такие таланты, что в пятнадцать лет взяли Ивана в Сибирский приказ – изучать иностранные языки и переписывать служебные скаски. В тринадцатом, когда майор (тогда еще капитан) Саплин и его супруга, как многие другие государственные люди, по указанию государя, Усатого, переселены были в новую столицу, Иван Крестинин тоже перешел в канцелярию думного дьяка Кузьмы Петровича Матвеева, опять же родного дяди, ревниво и внимательно следившего за жизнью любимой, замужней, но как бы одинокой сестры, поскольку муж ее, Яков Афанасьевич, тогда еще капитан, непрерывно воевал шведов, почти не показываясь в

столице.

Сибирь потихонечку забывалась. Вспоминал Иван про нее, когда начинал ныть на погоду отрубленный палец. Но все равно время шло, забывалась боль, забывались пророчества старика-шептуна. Кто нынче берет такое в голову? Упорным трудом дошел Иван Крестинин до старшего дьяка, но в канцелярии оставался незаметным, держался от других дьяков и подьячих в стороне, потому как часто учинял секретные чертежики для думного дьяка Матвеева (по заказу зельных чинов) и никогда не получал от него разрешения на встречи с другими понимающими в этом деле людьми. По приказу Матвеева правил Иван старые и новые маппы, в основном тоже секретные, а еще много переводил со шведского и немецкого, показав истинную склонность к разным языкам.

Но к маппам, то есть картам, как их тогда называли, особенно был склонен.

Любая чистая незаписанная плоскость, любой не покрытый изображениями лист бумаги поражали воображение Ивана своей тайной. Ведь правда, как многое можно изобразить на таких плоскостях! Например, океан, а в нем ужасного левиафана, и те пути, по которым плавает ужасный левиафан от одного острова к другому, и, наконец, сами эти еще никому не известные острова. Или большую сушу, а на ней всякие извивы рек, и всякие возвышенности, и наоборот, всякие ужасные провалы, в которых после дождей может соби-

раться вода, образуя озера, а то и моря, в которых вода со временем становится соленой. Даже лужи после дождя казались Ивану всего лишь уменьшенными морями, а пространство любого пустыря казалось копией какой-то маппы. На все смотрел по-особенному, дивился сам себе. Появляясь в канцелярии, неторопливо хромал между широкими столами (два года подряд дважды в одном и том же месте ломал правую ногу), обдумывал новые чертежи, переносил из казачьих отписок, присланных из Сибири, необычные очертания на бумагу, потом долго всматривался, пугаясь – вот совсем новый край! В том краю, говорят, великая стужа, там тьма, мгла, льды. Там корабль не пройдет, птица не пролетит, там воздух тверд от мороза. Непонятно, как вообще возвращаются из таких краев казаки?

Смутно помнил: а ведь есть в Сибири места, где зимой совсем не бывает солнца.

Полузабытое всплывало...

Многое в жизни обмануло Ивана, но больше всего обижался он на глупого старика-шептуна. Ну, во всем соврал бесстыжий старик-шептун. Может, Санкт-Петербурх и есть конец света, только уж никак не отыщешь на его прешпектах настоящую дикующую, да и внимание царствующей особы тоже не сильно на себя обратишь.

Да может, и не надо.

Короче, жизнь секретного дьяка Крестинина тянулась скучно, как старая мочала. Не сложилась она так, как пред-

сказывал старик-шептун. Иногда Ивану казалось, что скучная его жизнь всегда так и будет тянуться.

Всегда!

Ох, всегда!

От таких горьких мыслей время от времени секретный дьяк Иван Крестинин впадал в мрачные запои.

Но, конечно, по-умному.

Не просто так, как прыгают в прорубь.

Наученный суровой судьбой, он всегда помнил о превратностях.

Впрочем, и не сильно-то забудешь о превратностях: на каменных столбах и на деревянных кольях посреди Санкт-Петербурга в любой день можно было видеть разлагающиеся трупы казненных царем Петром людишек. Князя Гагарина, казнокрада, к примеру, перевешивали три раза – для науки. Истлевое лицо закрыли платом, а распухшее тело, заполнившее весь камзол, для верности перетянули цепями.

И так не с одним Гагариным.

Когда-то была у каждого повешенного собственная жизнь, каждому в свое время мамка агукала, и каждому, может быть, старики-шептуны предсказывали удачу. А чем кончилось? Виселицей.

Ох, Санкт-Петербурх...

Город низкий, город плоский, город сырой, всегда недостроенный, на неудобных деревянных набережных пахнет смолой, пенькой, гнилью. Выйдешь рано утром, не хочешь,

а вздрогнешь. Бледная Луна выкатилась, высветила каменный столб на неустроенной площади, а на столбу прикован цепью заплесневелый вор, таинственно и бесшумно машет крыльями на низком берегу деревянная мельница, побрехивают собаки, стучат колотушки солдат, обходящих улицы. По плоской Неве, по бледному рассвету, неспешно идут плоские плоты, с плотов тянет дымом, и небо над Невой тоже плоское и сырое.

Правда, в детстве Иван видел пространства не менее плоские.

В сендуге, например, в тундре, всегда дивился, всматриваясь в болотное марево: да неужто впрямь земля может быть такой плоской? Даже стаи гусей, медлительно тянувшиеся над тундрой, казались Ивану плоскими.

А сама жизнь? Разве не плоская?

Отец Крестинина Иван Петрович Матвеев, так несчастно убитый в тундре злыми шоромбойскими мужиками, был из богатых стрельцов, из тех, кто в восемьдесят третьем году с придыханием клялся в верности царевне Софье. Жил богато, многим интересовался, сам за руку выводил семью на высокое крыльцо, когда незадолго до стрелецкого бунта взошла над Москвой на северо-западе странная звезда. Вот смотрите, говорил, указывая пальцем на странную звезду, вроде как все звезды, однако гораздо светлее их, и хвост уперт прямо в Московское государство. Если б стояла та звезда головой в Московское государство, говорил, тогда б все вокруг было

тихой благостью и покоем, но видите, уставилась в Московское государство хвостом, значит всякое нам грозит – и темное настроение, и брань кровавая, и даже война.

Так и учинилось.

В один страшный день шумно побежали по низким палатам Кремля пьяные стрельцы, стали вязать узлы, жадно шарить в сундуках, ворошить чужие лари, а заодно рубить бердышами людей. Упившись до полного бесчестия, стольника Нарышкина закололи копьями на площади перед приказами, как свинью. Потом, беснуясь, зарубили бердышами у Мастерской палаты стольника Салтыкова. Потом подвели под топор по-бабьи кричащего от страха думного дьяка Лариона Иванова. И так многих, многих. Боярин князь Юрий Алексеевич Долгоруков, человек известный, встретил стрельцов гневным криком – куда, мол? очнитесь, смерды! поднимаете руку на кого? – но, не слушая смелого боярина, стрельцы сразу проломилась в винный погреб. Сильно гуляли. Потом, погуляв, вспомнили, конечно, и о боярине, предусмотрительно запертом в клетки. Вывели смелого Юрия Алексеевича на крыльцо и без всякого уважения порубили бердышами на мелкие части.

Стрелец Иван Петрович Матвеев, хоть и клялся с придыханием в вечной верности суровой царице Софье, сам рук в бунте не окровавил. Господь не допустил. Волею Его болел в те дни Иван Петрович, лежал в огневице. Стрельцам, вбежавшим в избу, прошептал: «Уймись! Торчат ва-

шим головам на кольях, добунтуетесь!» Стрельцы, посмеявшись, больного Матвеева не тронули, не заставили бегать с ними по площадям, – может, поэтому позже Матвеев не был казнен вместе со всеми. Ему даже ноздри не рвали, все обошлось отнятием деревенок и московского дома. Все же на всякий случай (молодой государь не доверял ни одному стрельцу) в том же году Иван Петрович Матвеев был выслан в Сибирь – якобы для взыскания и охраны ясачных казенных сборов. Впрочем, уезжал Матвеев по-хорошему – в стрелецком кафтане зеленого цвета, обшитом галунами, с красивой перевязью, на ногах весело желтели сапоги, и шапка на голове была еще бархатная с меховой опушкой. Вот только глаза...

Глаза Ивана Петровича Матвеева смотрели на мир с печалью. Видно, предчувствовал нехорошее бывший стрелец.

Нехорошее сразу и началось.

На старой Бабиновской дороге, впуская в свет маленького Ивана, в крике и в столах изошла жена Матвеева, урожденная Крестинина, из давнего тихого русского рода, сидевшего ранее на Клязьме. Младенца, ставшего невольным убийцей матери, нарекли Иваном, довели до Якутска – выжил, подлец, не помер. И в Сибири не помер. Навсегда запомнил плоскую сендуху, жалобно мекающих олешков, рычащего сына убийцы, бросающегося на него с ножом, потом старика-шептуна, и, само собой, небо над головой – бледное, бледное...

Эта бледность как бы навсегда вошла в жизнь Ивана.

Много позже, попав в Санкт-Петербург, сразу узнал знакомую бледность над царским Парадизом: облачки плывут снулые, и ответ на них бледный, выморочный. В одном тонком сне было Ивану видение: облак тихий, мутный, а на облаке что-то томительное, тоже мутное, и куда взгляд не кинешь, даже как бы сатанинское. Не положено так, никем и ничем не подсказано, а душой угадывается – сатанинское! Вот есть, есть что-то сатанинское в каменном плоском городе, а невозможно глаз отвести!

Сам не знал, что о таком думать.

Всю жизнь рос в боязни и в любопытстве.

В той же Сибири, например, до бледности боялся дикующих, боялся долгих рассказов отца о страшном молодом царе, у которого на плечах нерусский мундир, а на рукавах обшлага такие алые, будто их обмакнули в стрелецкую кровь; сильно боялся пурги и клейменных воров, высланных на правеж в Сибирь, как бы для уменьшения ее очарования.

Но при всех этих страхах всегда мучило Ивана великое любопытство.

Куда, например, уходят зимой все дикующие? Или что, например, лежит вдаль вон за той тундряной речкой, за которую никто еще не ходил? Или какие, например, звери живут за горизонтом? И можно ли, собственно, пройти еще дальше – за горизонт? Однажды даже спросил отца, следя за улетающими на север птицами:

– А там, за сендухой, что?

Отец хмуро усмехнулся:

– Край земли.

Даже в сердце кольнуло. Да неужто действительно тот самый что ни на есть *край*? Да неужто там навсегда кончается плоская сендуха? И тут же вопрос невольный: а если кончается? Если, правда, нет ничего дальше той сендухи... Что, что там?.. Может, окиян?.. А в окияне те рыбы, на которых стоит мир?..

Так неизвестным и осталось.

А в Санкт-Петербурхе и в окно смотреть не надо.

В Санкт-Петербурхе всегда темно, неслыханно мрачно. Всю ночь шуршит и шуршит дождь. И днем шуршит, и ночью. По крайней мере, над Мокрушиной слободой, что на Петербургской стороне, где устроился небольшой домик соломенной вдовы Саплиной, небо всегда плоское, темное, и дождь шуршит почти всегда.

Вот и остается спать.

Или пить.

Иван и сейчас спал бы сладко, да не получилось: во сне затомило, заболело сердце, а потом учинился во дворе шум.

Этот шум и разбудил Ивана.

Сразу загудела, заныла, отзываясь на томление сердца и на непонятный шум во дворе, похмельная голова. Сразу захотелось тяжелую повинную голову спрятать поглубже в пуховики, забыться, может даже умереть, потому что для че-

го подниматься, для чего раскрывать глаза, если жизнь полна одних мрачностей, загадочностей, неизвестностей и ужасных провалов в памяти, а добрая соломенная вдова Саплина, вместо того чтобы ласково кликнуть своего болезненно-го племянника к столу да установить на столе пузатый графинчик с померанцевой или можжевелевой наливкой, сама, кажется, принимает участие в раннем шуме?..

И правда, голос соломенной вдовы Саплиной, высокий красивый голос, полный некоторых укоров, мешался во дворе с другими высокими голосами, среди которых выделялся еще один – уже совсем высокий, только без укоров, и совсем некрасивый. Будто какая приبلудная собака тоскливо взлаивала или взывала, попав в капкан, одинокая волчица.

Отменно похоже.

Упаси Господь слышать с утра такое!

Но взывала не волчица, попавшая в капкан, тоскливо взлаивала на дворе не собака – кричала некрасивым и болезненным голосом бездомная неистовая кликуша по прозвищу тютя Нютя, так ее звали и на Петергофской дороге, и на Выборгской стороне, и за Малой Невкой. В церквах и во дворах тетя Нютя непрестанно кликала нелепым голосом, не боясь ничего. Бабу колотило, ее дергала нечистая сила, ломали судороги. Она вся вздрагивала, теряя платок. Тряся безобразными космами, пугала заморенных мужиков в дерюге, согнанных на работу в Санкт-Петербурх из разных деревень России, пугала старых девок с моськами, от которых пахло

белилами и румянами. Вот будут церкви Божии как простые храмы! – непристойно кликала несчастная. И сам Стоглавый собор будет как простой храм! Вот будет разврат кругом! И к святым писаниям будет всякая небрежность! Вот будут вражьи песни кругом, бесстыдные речи, забавы, смех, и хлопанье в ладони, и ужимки-прыжки, и всякая музыка – ангелы отойдут от людей!

Люди испуганно переглядывались, а кликуша не утихала.

Темный глад, темный мрак, и блуд, и бесовские клятвы, и басни всякие, и лень для всех, и безчинные браки! – все проклинала, выводя на свет Божий, неистовая кликуша. Ничего и никого не жалела. Даже себя. Каждодневно удручала себя подвигами. Но спросишь: боишься ль сама, тетя Нютя? – она тут же менялась в лице и еще сильнее начинала вскрикивать. Боюсь, боюсь! – вскрикивала. Ой, боюсь мук вечных, геенны огненной, скрежета зубовного, червя неусыпаемого!

Оказывается, многого боялась.

А боясь, вскрикивая, так себя разжигала, что остановить ее не могли даже солдаты, если вдруг появлялись. Ну, волокли тетю Нютю в участок, там били. Что толку? Все от бесов.

Все от бесов, тоскливо повторил про себя Крестинин. Увидишь или услышишь что-то такое, от чего сердце смутится, – от бесов. И захочешь узнать что-то такое, до чего тебе, в общем, нет и не может быть никакого дела, – это тоже от бесов, пленение тебя ими.

Как всегда, по утрам после ужасного ночного загула странное что-то и тяжелое томило душу Ивана. Будто злодеяние какое совершил.

А может, и совершил...

Свят, свят, свят! – даже думать о таком не хотелось.

Держась двумя руками за гудящую голову, Иван не без труда перевел неправильную мысль на более привычное, подумал с некоторой робостью: *а может, сегодня?..*

Не стал думать о плохом.

Запретил себе думать о плохом.

Просто подумал: *а может, сегодня?..*

Каждый день в течение многих лет засыпал Иван в постели с такой мыслью: вот прошел еще один день, не принес ему никакого счастья, даже унес частичку здоровья, но завтра-то, завтра! Ну никак ведь не может быть такого, чтобы завтра не случилось бы в жизни чего-то особенного!

Честно говоря, он не знал, чего ждать от жизни.

Ну, может, царствующая особа действительно обратит на тебя внимание? Ну обратит... А зачем?.. Или, может, дикующая появится в Санкт-Петербурге, привезут дикующую в кунсткамеру?.. Опять же, зачем?..

И так далее.

Не знал.

Попытался с усилием вспомнить, как добрался вчера до домика соломенной вдовы, как попал на свою пуховую пери-ну, и не смог. Попытался вспомнить, где провел вчерашний

вечер, и не совершил ли, правда, чего ужасного, и не смог: память зияла черными провалами. Последние остатки памяти затмевал, разносил по ветру волчий взыв тети Нюти.

Встать бы надо...

Откашлявшись, отфыркавшись, глотнув холодной брусничной воды, прочистив горло и нос, сунув на минуту лохматую голову в таз с холодной водой, Иван наконец оделся, и несильно толкнул рукой забухшую раму окна.

Легче не стало, только заныл на левой руке отрубленный палец.

А заныл палец – вспомнился парнишка в уресе. Там, под Якутском... Злобно кидался на него, на Ивана... Понятно, убить хотел, стоял за своего отца... Кровь к крови... А подумав так, вообще заскучал. Вот почему, например, так плохо на сердце? Может, сам кидался вчера на кого с ножом? Может, у меня у самого кровь на душе?

Свят, свят, свят!

Иван испуганно коснулся потемневшего серебряного крестика на груди. Указанный крестик он отнял в сендухе у дикого парнишки в драке, силой сорвал крестик с парнишки. Тот, значит, отрубил ему палец, а он сорвал с парнишки серебряный крестик.

Дохнуло от воспоминаний пугающим, леденящим.

Плоская темная сендуха, одинокая якутская ураса, крытая коричневыми ровдужными шкурами, легкий, разносящийся по всей сендухе запах дыма, низкое светлое северное

небо, меканье глухих олешков, ничего не понимающих в человеческой жизни, наконец, кровь на руке...

Вот, вот, кровь на руке!

При одном воспоминании о крови нехорошо сжалось сердце. Вот почему он, Иван, ничего не помнит про вчерашнее? Про всякое старое далекое помнит, а про вчерашнее близкое совсем забыл. Уже столько лет прошло со времени той драки в сендухе, а драку помнит. А вчерашнее – хоть убей.

Действительно, ясно, до каждой детали, помнил Иван, как когда-то серебряный крестик, сорванный с парнишки, с сына убивцы, лежал в его окровавленной руке. Помнил и то, как отец, пнув повязанного и брошенного на пол убивцу, перекрестился и кивнул хмуро:

«Вишь, сам взял... – И добавил странно: – Коль сам взял, значит твое. Значит. Господь так хочет. Может, знак это... – И добавил: – Этим... – хмуро кивнул на повязанных казаками убивцу и его сына, – ...этим, так думаю, ничего больше не понадобится».

«Казнят?» – потрясенно спросил Иван.

«Беспрременно, – кивнул отец. – Вот этот, – кивнул на убивцу, – зарезал собственную жену. Разве не большой грех! Не только большой... Смертный!.. И парнишка у него растет вором».

И еще раз хмуро глянул на преступника и на его дикого сына: вот совсем глупые, хотели найти спасение в сендухе!

А какое в ней спасение? Сендуха, она тоже не без людей. Сендуха, она тоже творенье Божье.

## 2

Дивны дела твои, Господи!

Опрятный домик соломенной вдовы Саплиной стоял в одну линию с другими, тоже опрятными; ставни резные, крашенные, от дороги двор и садик с беседкой отделены высокой деревянной решеткой, – если идут по размытой улице странные люди, непременно заглянут к вдове. Как стали у соломенной вдовы Саплиной старые иконы по углам почиживать да пощелкивать, так особенно сблизилась вдова со странными. Каких-то особенных неотвратимых знамений вроде не было – ни звезды в небе с метлой, с хвостом, с сиянием, ни семи радуг, ни мертвого ветра с гнилых болот, только вот почиживание да пощелкивание. Но ясное дело – извещают о чем-то. Томясь всяким предчувствием, торопясь понять необычное, соломенная вдова не отпускала от своего дому, подробно не поговорив, ни одного странника, ни одной кликуши. Каждую приметку старалась подробно истолковать со святыми людьми. Вот известно, что длани свербит – к деньгам. А кошка спит, подвернув голову под брюхо, – зимой на мороз. А жаба воркует, сорока стрекочет – к новостям. А в ключ свистнешь, и того яснее – к потере памяти. А иконы?.. Страстно допытывалась у святых людей, что извещает

такое необычное почикивание да пощелкивание. Всячески угождала святым людям чаем с сухариками да с белым хлебом, а сама допытывалась.

Ох, долюшка!..

Вздыхая, сопя, сил не имея припомнить того, что могло случиться вчера, даже радуясь тому, что ничего вспомнить не может, полез Иван лохматой головой в открытое окно. Одно ясно – выпито вчера винца в кабаках не на одну денежку. Первые приметы: дыхание скверное, памяти нет. Может, снова подумал, это и хорошо, что памяти нет?..

К утреннему чаю соломенная вдова выходила обычно в китайчатом сарафане малинового цвета, на белой шее скромное ожерелье из неярких северных жемчугов – сам майор Саплин подарил, ныне пропавший в бесконечной Сибири, но сегодня, выглянув во двор, Иван увидел на доброй вдове нерусский халат, длинный и яркий, с широкими рукавами и травчатого удивительного узора, будто невиданное растение расцвело на груди вдовы! У Ивана даже голова закружилась, такая дивная красота. Не зря говорят: апонский халат, прозвание – хирамоно.

Вот хороша матушка, подумал тоскливо, а пропадает попусту. Один у нее муж-майор, а и тот в Сибири. Может, давно пропал. И подумал сердито: да и как не пропадет, если в целом доме некому бедному секретному дьяку поднести наливки с утра!..

Желтоватый песок, которым густо посыпали широкий

двор, порос кое-где поздней осенней травкой, бледной, беспомощной, с нездоровым подцветом. На травке, вминая ее в песок, на глазах дворовых людей, взвизгивая, всхрапывая, влаивая не по-человечески, билась ужасно худая баба в сбившемся, потасканном платье. Нечистая сила дергала со всех сил бабу, сорвала платок с головы. Добрая вдова Саплина в дивном нерусском халате хирамоно, тоже простоволосая, как выскочила во двор, так всеми силами пыталась помочь несчастной, спасала кликушу в ее убожестве.

– Кто ж это?.. – присмотревшись, спросил в никуда Иван. – Вроде не тетя Нютя...

– Да новая кликуша, Иван Иванович! Совсем новая! – вынырнула из дверей проворная Нюшка, сенная девка. – Говорят, из дальних мест пробирается в Киев на богомолье, по обещанию. Вот все ходит да кликает и кликает своим нелепым гласом!

– Беды бы не накликала, – перекрестился Иван и попытался ущипнуть Нюшку за высокий бок. Но девка ускользнула, смеясь:

– Неловкий вы сегодня, Иван Иванович.

– Неловкий, – печально согласился Иван. И пригрозил на всякий случай: – Сорока-белобока, дай хлеба немного, а Нюше-горюше мужа – бескрылова да косорылова! – И ласково подсказал: – Ты, Нюшка, не забудь, поставь наливку на стол...

– Как барыня скажут, – дерзко ответила Нюшка. Но по-

жалела Ивана:

– Барыня сегодня сердитые. Это потому как вас, Иван Иванович, вчера домой опять в чужой привезли телеге. Вы громко воинскую песню пели и ругались. Барыня сказали: погонят вас со двора. Совсем не в себе были.

– Да как не в себе? В ком же?

– Тьфу на вас! – замахала руками Нюшка. – Я барыню боюсь, вы барыню только сердите. Погонят вас со двора!

### 3

Томительно прислушиваясь к боли, гоня прочь дурные мысли – (а правда? не совершил ли какого злодеяния?) – Иван посидел немножко на лавке, уютно укрытой вышитой дорожкой. Даже провел пальцем по дорожке, кое-где прожженной, но умело заштопанной. Когда-то на лавке с трубкой в руке любил отдыхать неукротимый майор Саплин – курил матросский табак. В нише изразцовой печи всегда стоял у него горячий кофейник. В отличие от Ивана, неукротимый майор Саплин заведомо не знал никакого томления духа. Несмотря на свой малый рост, был крепок во всем, даже на выпивку. Ну, совсем крепкий был человек.

Иван повел носом.

Душно, по-домашнему, тянуло геранью с окна.

На стене – ковер мунгальский с бахромой, не такой богатый, как в спальне соломенной вдовы, но почти новый, по-

что не вытертый; и коврики китайчатые цветные – заботами вдовы; опять же, скатерки разные вышитые, цветные занавески. На полу волчья полость – согреть ноги, когда озябнут. Все мелочи в доме вытканы, вышиты самой вдовой или ее девками. А чего ж? Говорят, сама государыня не стыдится царю Петру самолично коптить колбасы. Почему не вышить скатерку бедной вдове, пусть и соломенной?

Иван осмотрелся, вздыхая, будто, правда, мог увидеть вокруг себя что-то новое.

Изразцовая голландская печь, как леденец, празднично поблескивала – голубым и синим. Затеяливые птицы, загадочные литеры бежали по поблескивающему обогревателю, дышали уютным теплом. Иван любил Елизавету Петровну. После давней смерти отца, стрельца Ивана Матвеева, зарезанного в Сибири злыми шоромбойскими мужиками, соломенная вдова многому его научила.

Например, любви к чтению.

Елизавета Петровна никогда не могла сдержаться, всегда обильно заливалась слезами, когда Иван читал ей вслух прелестное сочинение «Гисторию о российском матрозе Василии Кариотском и о прекрасной королевне Ираклии флорентийской земли».

Да и сам Иван не раз смахивал слезу.

Душевная книга.

Сын дворянина и сам дворянин, этот Василий, получив родительское благословение, отправился не куда-нибудь, как

в старинные времена, а на самую сейчас модную службу матрозом, и быстро, вот как он, Иван, овладел различными знаниями в Кронштадте. После этого молодой дворянин уехал в Голландию для изучения наук арифметических и разных языков. Изворотливый ум позволил русскому матрозу везде добиться успехов, а ведь начинал он с каютного хлопчика. Однажды, выполняя коммерческое поручение богатого голландского купца, Василий попал на остров к лютым разбойникам. А среди них томилась похищенная флорентийская красавица-королевна. Но это не стало для русского матроза бедой, так оказался указанный Василий ловок, так оказался умен, что лютые разбойники сами избрали его своим атаманом. Да и как иначе? Ведь Василий не хватал мясо со сковороды руками, не харкал грубо на пол, не сыпал ужасными матерными словами, он мягкостью и политесом покорило нежное сердце флорентийской королевны, а тем, значит, спас ее, спас себя и даже стал названным братом австрийскому императору.

– Ты-то, Ванюша, почему плачешь? – допытывалась соломенная вдова, утирая платком светлые обильные слезы.

– Королеву жалко...

Всхлипывали вместе. Заодно вспоминали неукротимого майора Саплина, пропавшего где-то в метелях, в снежном омерзении Сибири.

– Ах, Ванюша!..

Если б не страсти низменные...

Еще в Москве Иван пристрастился к винцу.

Не к романее и не к ренскому, не к молмазее и мушка-телю, и не к венгерскому всякому, а к простому крепкому винцу, хоть на мяте, хоть на зверобое, хоть на горчице или на амбре, хоть на померанце или селитре. Хватишь крепкого рюмочку, и сердце стихает, мир преображается. Не зря сам государь объявил когда-то указ о содержании в городах и уездах на кружечных дворах именно добрых водок, винца горького.

Если б в меру...

Вот ведь тихо живет Иван, совсем тихо, ладно, совсем как человек, а потом на него находит. С утра все начинает не ладиться. Выйдет на улицу – соседский козел поддаст рогами, забрызгает немецкий камзол грязью. Появится на площади – чуть под телегу не угодит. И в канцелярии не лучше – непременно опрокинет флакон чернил на какой-нибудь важный чертежик.

Сильная тоска нападала.

Серый бес, томительный, долгий, начинал мучительно то-чить изнутри. Да чего ты, дескать, Иван? Зачем смиряться? Самое, дескать, время. Пойди в кабак да сразу спроси двойного с махом. Какой в том стыд? Сам государь, сам Уса-тый воюет с Ивашкой Хмельницким. Воюет во славу и в си-ний дым. Устраивает побоища, какие ему, Ивану, никогда не приснятся. На ассамблеях, говорят, так наддают Ивашке Хмельницкому, что некоторых вельмож и домой не везут,

бросают кулями на диванах да на полу. Вот каков дар Бахуса: попил, попил, попрыгал козлом, потом валяйся.

Ко всему прочему, в такие дни появлялся в беспокойных снах Ивана парнишка, сын убивцы, который в Сибири отрубил ему палец. Появлялся и грозил – вот ужо, дескать, доберусь до горла! От этих снов, от темных предчувствий еще сильнее сжималось сердце. Почему-то хотелось знать, где тот парнишка, жив ли? А спрашивается, зачем? Любопытство, оно ведь тоже грех. Сама Ева погибла от любопытства.

В пору снов о Сибири Иван просыпался вялым, задумчивым, испуганным даже. Знал, нет никакой Сибири. Знал, что для него уже никогда не будет Сибири, никогда стрела дикующего не метнется в его сторону и никогда не ляжет перед ним необъятная снежная пустыня, до самого горизонта заставленная печальными одинокими лиственницами (ондушами, по-местному), а все равно было не по себе. Ужасался, вот какая смрадная вещь сердце! Пью сердечно, а лгу, а сквернословлю. Дальше-то как?

Оно, конечно, Санкт-Петербурх... Холодная река... Бледное небо...

Зато дом соломенной вдовы Саплиной всегда тепл, ухожен. Поленья трещат в печи – к гостю. Сильно отскакивают раскаленные угольки, а это уж совсем точно, к гостю. Может, вдруг заедет, направляясь в Сибирский приказ, сам думный дьяк Кузьма Петрович Матвеев. Соломенная вдова Саплина никому так сильно не радуется, как брату, но и никого не

боится так сильно: Кузьма Петрович кликуш да странников, всех ее святых людей совершенно не выносит.

И ведь не возразишь. Кто, кроме родного брата, должен следить за ней, за сестрой?

Вздыхала. Ах, майор!.. Ну, где сейчас майор?..

В великую шведскую войну неукротимый майор Яков Афанасьевич Саплин, тогда еще пехотный капитан, отнял у неприятеля большой корабль.

Началось указанное предприятие для капитана Саплина нехорошо, можно сказать, даже плохо: в шестнадцатом году при высадке десанта в шведской провинции Сконе пехотный капитан Саплин попал в плен.

Пришлось строить шведам дороги.

Саплин, правда, строил дороги без усердия, за что не раз бывал бит палками, а потом его вообще с такими же нерадивыми погрузили на большой шведский корабль, перевозивший пленников подальше от мест военных действий. На корабле капитан Саплин тайно сговорился с русскими невольниками, а раз сговорились, тянуть не стали – побили да побросали шведов за борт. Подняв белые паруса, пришли к своим, нигде не посадили корабль на мель. Дивясь на такой богатырский подвиг, сам Петр Алексеевич, сам Усатый, поднявшись на борт плененного корабля, самолично угостил военных героев добрым флипом – гретым пивом, смешанным с коньяком и лимонным соком, и спросил, смеясь, но страшно при этом дрогнув правой щекой, отмеченной небольшой

родинкой:

– Кто додумался до такого?

Вытолкнули к царю пехотного капитана Саплина.

– Врешь! – поразился Усатый. – Мышь такой!

Маиор действительно не вышел ростом. Петру Алексеевичу, например, казался как раз под мышку. Блуждающие круглые глаза царя цепко прошлись по истрепанному мундиру капитана, но Саплин того не испугался – смотрел на усатого пусть снизу вверх, но неукротимо, и даже весело.

Царю понравилось.

– Коли так, – сказал, обняв крепко, – коли такой маленький русский мыш так задирает шведского льва, мы бьют тебе, неукротимый маиор, грудную штуку с тебя, как с героя, слепим. – И, поправив тяжелой рукой красные (вот она, запекшаяся стрелецкая кровь!) отвороты темно-зеленого преображенского мундира, крепко обнял капитана. – Дам теперь дышать тебе, маиор, ты услугу мне оказал. И России оказал большую услугу.

И дал дышать.

Пользовался маиор всякими царскими милостями, на ассамблеях скакал козлом, неукротимо пил водку, дымил трубкой, играл с большими генералами в шашки, случалось, пугал дам простыми рассказами. Зато, когда пришло время отправить в Сибирь верного человека, Усатый вспомнил не кого-нибудь, а именно маиора: пусть ростом мал, да волей вышел! Сказал доверительно: пойдешь, маиор, в Сибирь.

Это далеко. Знающие люди говорят, что есть в Сибири одно местечко, над ним гора возвышается – вся из серебра. Натяки серебряные висят с той горы, ну, прямо как сопли. Посылал я туда грека Леводиана с десятью товарищи, он не нашел и сам сгиб. Теперь ты, майор, пойдешь к горе. Пойдешь по добру, не по приговору. Настоящих работников у меня и в России не хватает, но надо идти. Я так чувствую, майор, что это дело как раз тебе по характеру. Если вернешься, то полковником. Опять дам тебе дышать.

И пошел майор в Сибирь искать для царя гору серебра. А соответственно, и охранять ее. Раз есть где-то в Сибири гора серебра, правильно решил, непременно ее надо охранять. Русский человек, известно, от природы склонен к хищениям. Дай ему волю, русский человек свою собственную гору серебра по щепотке разнесет, всю сменяет на водку. Мимо горы серебра идя, ни один русский не удержится, отщипнет немножко. Чего, скажем, не хватало сибирскому губернатору Гагарину? Все у него было, даже то, что у царя есть. А ведь неистово воровал Матвей Петрович, так страшно и неистово воровал, что труп его, обмотанный цепями, до сих пор, истлелый, болтается на виселице. И не где-то в Якутске или в Тобольске, а здесь, в Санкт-Петербурге, прямо перед окнами Сената. Всегда полезно видеть такое русским сенаторам.

Ушел майор.

А Сибирь велика.

Сибирь, она всех глотает.

Шум на дворе утих.

Мальчик в синем армячке, из-под которого виднелась нечистая рубаха, младший брат девки Нюшки, с опаской заглянул в комнату, сказал, шепелявя, с ненавистью:

– Барыня передали, накрыто на стол.

– И померанцевая поставлена?

Знал Иван, что не надо унижать себя перед мальчиком, мальчик его и без того не любит. И за то, что они, секретный дьяк Иван, сестру Нюшку тискают втихомолку и щиплют за высокий бок, и за то, что их, задумчивых тихих дьяков, время от времени доставляют в дом пьяными на чужой телеге, а добрая барыня почему-то терпят такое, и за то, наконец, что секретные дьяки как бы тихие, а сами часто с доброй барыней уединяются и читают вслух разные книги. Еще ладно бы «Устав морской» – о всем, что касается к доброму управлению в бытности флота на море, или там всякие заметы о военных баталиях (такое даже неукротимый маиор слушали в свое время), так ведь нет, он, мальчик, сам слышал, как они, дьяки вредные, читали доброй барыне вслух книгу: «Новоявленный ведун, поведующий гадание духов, или Невинныя упражнения во время скуки для людей, не желающих лучшим заниматься». Он, мальчик, сам тайком держал в руках эту книгу, даже листал ее, только ничего не понял.

И от этого сердился еще сильнее. Обидно и за добрую барыню, и за сестру. Сказал бы барыне, какой плохой у нее племянник, да страшно... Вот защитил бы сестру Нюшку, да сил нет... Да и защищать как-то никак не получается: к тихому дьяку у глупой Нюшки всякие такие симпатии... При взгляде на Ивана у мальчишки леденели глаза.

А соломенная вдова чего ж?

Она правда любила послушать чтение.

Особенно если в какой книге шла речь о Сибири, соломенная вдова вся содрогалась. Содрогалась, но все равно досконально хотела знать о пустынном крае, по которому, может, и сейчас ходит ее майор. Ведь всем известно, русский человек – ходок, он не станет отсиживаться в якутских чувалах или по заброшенным зимовьям, он сам далеко пойдет, куда глаза глядят, без ландкарты, только понаслышке, пока не остановит его судьба. Этого только глупый мальчишка, брат Нюшки, не понимал, не раз, впрочем, поротый в сарае за то свое горькое непонимание. Правда, после каждой такой порки мальчишечьи глаза при виде Ивана еще больше оледеневали.

– Не поставлена померанцевая. Не будет вам нынче померанцевой. Никакой вам сегодня не будет, – скороговоркой с холодной ненавистью выговорил мальчик. И сам про себя, пусть и не вслух, но как бы решил: вот тискаете Нюшку, глупые дьяки, ничего вам нынче не будет!

Тоска, подумал Иван, и вяло пообещал:

– Уши нарву.

– Вас вчера привезли накушамшись, – с ненавистью сообщил мальчик. – Вас вчера на телеге привезли, как помершего борова. Думный дьяк Кузьма Петрович всегда вас хвалят, а зря.

Иван так же вяло пообещал:

– В подвал спущу. Железо набью на руки. Будешь, как кликуша, лаять из подвала нелепым голосом. – И, ногами шаркая, плохо было, направился в гостиную.

Из гостиной низкая дверь открывалась в сумеречное, но уютное и теплое пространство полукруглой застекленной террасы, за удобство и видимость которой вдова не раз отмечалась городским начальством. Даже сам государь однажды, проезжая через Мокрушину слободку, вспомнил неукротимого майора Саплина и, поднявшись к соломенной вдове, выпил водки.

Хорошая терраса.

На такой террасе чай хорошо кушать.

Если солнце в небе, то все вокруг как бы смутно освещено, как бы погружено в светлую радугу, а если туман, то, опять же, люди укрыты от непогоды и не зябнут за столом, и туман не охватывает их своей сырой желтоватой гнилью. А на столе сипит самовар. Большой горячий самовар. Такого на многих хватит.

– Вас Пробиркой все кличут, – все той же скороговоркой ненавистно прошипел в спину Ивану вредный мальчик.

– Рассол принеси, – угрозился Иван, но на прозвище не обиделся.

Ну, Пробирка. Подумаешь!

Так прозвали его на службе не за что-нибудь, а за стеклянную светлость глаз, за тихую худобу, за особенную опрятность. Подумаешь, Пробирка! Бывают прозвища куда хуже. На царских ассамблеях даже сиятельные князья да вельможи ходят под всякими прозвищами. Курят табак, играют в шашки, сидят, смотрят друг на дружку, а кого надо окликнуть, окликают по прозвищу! Усатый сам за этим следит. И даже сам наделен прозвищем!.. Подумаешь, большое дело – Пробирка. Дано человеку такое прозвище за чистоту, за опрятность. У него, у Ивана, чернила, бумага, тушь, всякий инструмент, книги – все хранится на своем месте, каждая чертежная принадлежность в шкапу, сам в канцелярию входит скромно. Закусывает губу, вперяет задумчивый взгляд в рабочую маппу. Не зря думный дьяк Матвеев без сомнений доверяет Ивану самые секретные.

Кликуша во дворе наконец совсем смолкла.

Как умерла, подумал Иван. Наверное, ее окатили водой, потом подняли. Теперь, успокоив, будут поить чаем, подарят калач. А потом сама соломенная вдова Саплина будет говорить с кликушей. С одной стороны, вдове страшно: был царский указ – нигде ни по церквам, ни по домам не кликать и народ тем не смущать, а с другой стороны, очень хочется знать вдове: ну, вот к чему начали в доме иконы почиживать

да пощелкивать?

– Здравствуй, голубчик.

Соломенная вдова вошла к столу, и Иван, увидев ее, сразу оттаял сердцем.

Светлое личико вдовы пусть ospой побито, но в меру, будто болезнь ее пожалела, глаза синенькие, на плечиках халат тонкого, но тяжелого апонского шелку, только зеленый, как морская вода, и с необычным растением на груди. И сама соломенная вдова Елизавета Петровна все еще цвела как цветок – правда, не на восходе, а на закате. Единственно лишь по глазам, чуть косящим, видно было – расстроена.

– Ах, голубчик! – белые ручки крепко прижаты к грудям, будто она боялась за нерусское растение, но взгляд печален. – Знаю, знаю, ты добр, тебе думный дьяк Кузьма Петрович благоволит, но как можно?

Жалела.

Корила, значит, но жалела Ивана.

И только из смутного упрямства, порожденного похмельной тоской, Иван напомнил себе слова из одной умной книги: «Тот не пьяница, кто, упившись, спать ляжет, а тот пьяница, кто, упившись, упадет, где стоит». Впрочем, сразу вспомнил, стыдясь: а сам-то я? Разве вчера не меня привезли домой на чужой телеге? Разве это не я не помню, что, собственно, совершил вчера? Даже подумал горестно: будь соломенная вдова грамотней, она бы нашла что возразить. «И кроткий, упившись, согрешает, если и спать ляжет, – воз-

разила бы соломенная вдова, будь она грамотней. – И кроткий, упившись, валяется как болван, как мертвец. И кроткий, упившись, валяется, смердя даже в святой праздник, валяется как мертвец, расслабив тело, весь мокр, налившись как мех до горла. Если богобоязен, то мнит, что стоит он на небеси и наслаждается высоким пением, а от самого несет смрадом, и весь поганый...»

Могла, могла возразить вдова!

Иван чуть не застонал от бессилия.

И, опять же, не было на столе наливки!

Вот вся душа болит, что-то вспомнить хочет, а вдова по сути своей женской долго еще будет мучить его, Ивана. По доброте великой сама измучается и его всего измучит.

– Знаю, знаю, голубчик! – вдова снова сложила руки на грудях, под белыми пальчиками смятенно смялось невиданное нерусское растение. – Знаю, знаю, голубчик, с чего ты с утра неприветлив, с чего у тебя такая печаль в глазах. Это Сибирь в тебе отрыгается. Кузьма Петрович мне говорил, что люди в Сибири неприветливы и хмуры. Такие, как ты сейчас. Кузьма Петрович – думный дьяк, он все знает. Он мне говорил, что люди в Сибири хмурые, а небо низкое. Со всем низкое и темное, все в копоти, – перекрестилась вдова. – Закоптили дикующие небо в Сибири кострами. Много их там. Ты, голубчик, – губы соломенной вдовы дрогнули, – тоже с утра как закопченный. – Наверное, вспомнила майора (в расстройстве всегда вспоминала Якова Афанасьича),

добавила горько: – Почему теперь веснами птички не стали красиво петь?

И так жалобно выговорилось это у вдовы, что сердце Ивана дрогнуло, налилось нежностью, жалостью.

– Ах, матушка!..

Понимал, что надо, непременно надо повернуть разговор на майора, на его героическую судьбу, тогда, может, появится на столе и наливка, но так жалобно, так горько сказала вдова про птичек...

– Ах, матушка, каюсь!

Знал, что добрая соломенная вдова не смирилась с мыслью о своей горькой доле. Оттого и сворачивала так часто в сторону Сибири. И в плохом, и в хорошем. Вот, например, закопченное небо вспомнила. В Сибири, это она действительно не раз слышала от брата, дикующих много – они нехорошие, они гостей ядят, стрелы пускают. В Сибири мороз леденящий, зверье, люди лихие. Там плохо, плохо, никак не выживешь! Но майор Саплин неукротим! Он росточком не вышел, зато душевная сила в нем! Пока зверье бегает по лесам, майор Саплин не помрет с голоду. Он, неукротимый майор Саплин, не только на зверье, он на шведа охотился! Сам государь помнит о неукротимом майоре Саплине. Он, государь, ее, соломенную вдову, не раз привечал, ее маленький рот поцелуем отметил. Однажды в ассамблее лично налил ей в бокал ренского и, дрогнув щекой, пошутил. Вот, пошутил, коль мужчина встречает женщину, то всегда спра-

шивает: «Можно, я это сделаю?» А женщина, мол, всегда отвечает скромно: «Да как! Да не надо!» А я все равно это сделаю! И, так пошутив, запечатлел поцелуй на теплых губах вдовы.

Сказано у Павла: «Жена связана законом, доколе жив муж ее; если же муж ее умрет, свободна выйти, за кого хочет, только в Господе».

А где майор? Умер? Жив ли? Уже несколько лет одна – без никакого греха, в печали. В неслышимых стенаниях текут дни, недели, месяцы, годы. У Павла там дальше: «Но она блаженна, если останется так, по моему совету». Ох, трудный совет! Не зря думный дьяк Кузьма Петрович, брат родной, бывая в гостях, а потом прощаясь неспешно, вдруг пронищательно взглядывает в глаза любимой сестры и говорит, сжав горячую руку: «Лучше, сестра, заново вступить в брак, нежели разжигаться».

Она вспыхивала.

Несчастливая судьба.

И мужа нет, и свободы нет.

Ждала, не жалуясь, неукротимого майора Саплина. Стыдилась всего, что могло отбросить тень на ее скромное ожидание. Потому и сейчас, строжась, подняла на Ивана синенькие глаза: «Вот так, голубчик. Вчера вновь тебя привезли. Ты был будто куль с мукой. И мешок при тебе. Бумаги шуршат в мешке. Казенные, небось, бумаги, Ванюша? Как только не потерял? – И укорила: – Можно ль так поступать?»

Сказала про мешок (бумаги шуршат), и Иван сразу все вспомнил.

## Глава II

### Чужой мешок

#### 1

«Тогда царевич шалил... Усатый сильно боялся... Тогда на поклон ходили к царевичу...»

«Молчи, дурак! Где тот царевич? Много выходили?»

Окна австерии дрогнули от пушечного залпа. На мгновение утих пьяный говор, шумно сорвалось с окрестных крыш черное воронье. Как бы тень упала на землю, так грянул на Троицкой площади многократный виват.

Иван тоже поднял голову, прислушиваясь.

Чего только не случилось за последнее время. Было что послушать, хватило бы ушей. За какой-то месяц изменилась вся жизнь. «Здравствуйте и благодарите Бога, православные, что столь долговременную войну, которая продолжалась двадцать один год, всемогущий Бог прекратил и даровал нам со Швециею счастливый и вечный мир!» – так сказал государь.

Во всеуслышание.

Усмехаясь про себя, Иван незаметно присматривался,

прислушивался к ярыгам, рассевшимся по углам, к простым матросам, толкающимся у стойки, к казакам, занявшим вторую половину стола. Кафтаны на казаках выглядели поношенными, но так ведь только говорят, что встречаются по одежке. Если правильно, то в кабаках встречаются не по одежке, а по денежке. Есть денежка, никто тебя не упрекнет в том, что на плечах у тебя кафтан, выдавший всякие виды. Имея денежку, в любом виде можно сойти с лестницы, никто не укорит. А без денежки и в хорошем кафтане можно получить по зубам.

Радовался про себя, потягивал горькое винцо.

На площади он уже был, среди народа толкался, военные суда на Неве видел. Честно говоря, на площади Ивану даже не понравилось. Там шумно кричали виват, там гремели литавры, били барабаны. Там с ужасной силой грохотали пушки с Петропавловской крепости, с военных судов и с Адмиралтейства. Там ждали фейерверка. Казалось, Усатый и в день мира хочет напомнить о жестоком военном огне. А вот в австерии уютно. Не зазорно русскому человеку выпить горького винца в такой день.

Вот Иван и радовался.

Почему не радоваться?

Беременные бочки с вином и с пивом тяжело и надежно утверждены на специальном возвышенном месте, они, большие бочки, не шумят, не толкаются, как люди на площади. И разговоры в австерии много интереснее и богаче, чем на

площади. Мир-то, говорят, миром, а вот что теперь будет, когда наступил мир? Одни утешают, что к Санкт-Петербуржским окладам, в сравнении с московскими, теперь начнут доплачивать не двадцать пять процентов, а все тридцать, другие пугают, что пусть не на войну, а все равно волею Усатого погонят молодых ребят в школы, а то еще и дальше – к немцам, к голландцам. Тоже чего хорошего? Наши ребята от того портятся.

Иван приглядывался, прислушивался.

Еще вчера людишки смиренно, как тараканы, прятались по углам, боялись лишней раз выглянуть на улицу, а сегодня как наводнение случилось, как Нева выплеснулась на берега и пошла по улицам с шипом-гулом – пей-гуляй! – всех несло в одном общем водовороте. Хочешь, пробивайся сквозь орущую толпу на площади к дареному вину, к остаткам жареных быков с позолоченными рогами, а хочешь, пей на свои. Кафтаны не марки, поблаговести в малые чарки. Позвони к вечеришки в полведришки пивишки. Всем известно, что глас пустошный подобен всedневному обнажению. Целовальники нарадоваться не могут богатому празднику, они от великой радости выкатывают людишкам бочонки застоявшегося винца – не жалко, мол, радуйтесь! Не дураки, знают – все к ним вернется.

Иван усмехнулся.

Раньше на дармовщинку подносили рюмку водки с огурчиком только в кунсткамере. Простому человеку просто так

войти в кунсткамеру страшно. Государь, учитывая это, специально учредил: явился человек взглянуть на уродство, какое производится иногда Натурой, такому человеку непременно сразу рюмку очищенной! Не выпив очищенной, и осматривать кунсткамеру тошно. Правда, ее осматривать тошно и после очищенной, не такая уж она очищенная. Однажды, правда, на большом безденежье, Иван целых три раза умудрился пройти в кунсткамеру, целых три раза умудрился принять от служителя по рюмке и, может, принял бы еще, но образовался над Иваном плотный тяжкий запах перегорелого винца. Вот тебе и очищенная.

Странно вот, подумал он, поглядывая на матросов, на ярыг, на казаков напротив, все вроде радостны, все чему-то смеются, все о чем-то разговаривают, только у меня, у секретного дьяка, на душе смутно.

И усмехнулся презрительно.

Уж прямо так? Уж прямо не знаешь правды?

Укорил себя: знаешь, знаешь! Ведь сказано в умных книгах, что пьяницы и бражники Царствия Божьего никогда не наследуют. Они без воды тонут на суше. В кабак – со всем, обратно ни с чем. Перстень на пальце тяжело носить, зато портки на пиво легко меняются. Пьешь с красой, проснешься с позором. В кабаке всякому дашь выпить, а завтра сам будешь просить. Так что знаешь!.. Все сам знаешь, Иван!..

Четвертого сентября одна тысяча семьсот двадцать первого года государь Петр Алексеевич неожиданно явился с моря в Санкт-Петербург. Говорят, сам вел шаткую бригантину от Лисьего мыса, где стоят Дубки, та усадьба, что впрямь обсажена молодыми дубками. Бригантина ходко вошла в Неву, стреляя сразу из трех пушек, и сразу затрубили трубачи.

Боялись несчастий, а вышел мир.

По такому великому, по такому столь долгожданному случаю Усатый наконец принял от своих флагманов и главных министров чин адмирала от Красного флага. А Сенат и Синод поднесли государю титул Отца Отечества, Всероссийского Императора и Петра Великого. Говорят, Усатый не церемонился. Его левая щека счастливо и грозно дернулась: «Конец долгой войне!»

Так произнес, и сразу двенадцать драгун с развернутыми знаменами, с белыми через плечо перевязями, как бы гоня перед собой неистовых трубачей, пошли с шумом по плоским площадям и улицам Санкт-Петербурга, объявляя великий праздник: мир! мир со шведами!

Пятого сентября в почтовом доме всю ночь коптили сальные свечи, была по ушам сильная музыка – вместе с долгожданным миром в счастливо заключившейся войне приглашенные праздновали именины царевны Елизаветы Петров-

ны. Думный дьяк Кузьма Петрович Матвеев, заглянув к соломенной вдове Саплиной, рассказал: государь Петр Алексеевич, Отец Отечества, как бы стряхнул с плеч всю тяжесть военных будней, никак остановиться не мог. С удовольствием курил короткую голландскую трубку, пил, плясал, смеясь, срывал парики с сановников, широко расплескивал вино из чаши.

Мир!

А десятого сентября снова праздник.

На этот раз с карнавалом.

Иван несколько часов бродил в толпе, дивился: людишки в харях, в невиданных венках и одеждах скакали и прыгали на Троицкой площади под грохот пушек, под шипение диковинных фейерверков. Говорили, что фейерверки, как всегда, зажигает сам царь. Безумный князь-кесарь Федор Юрьевич Ромодановский явился перед народом в одежде древних владык: ехал на колеснице, облаченный в длинную мантию, подбитую горностаем, сверкала корона на голове, усыпанная не стеклом, а настоящими бриллиантами. На фигуру бога Вакха, мерзкого в своей наглой осатанелости, набросили благородную тигровую кожу. Страфокамилы, петухи, журавли – десятки и десятки ряженных кружили вокруг процессии. Одного царского шута целиком зашили в медвежью шкуру, он смертельно пугал зевак, вдруг бросаясь на них. Говорили (сам Иван того не видел), что на выходе Преображенского и Семеновского полков первым торжественно отбивал строе-

вой шаг суровый великан в потрепанном зеленом полковничьем кафтане с небольшими красными отворотами, поверх которого была натянута кожаная португепя. На ногах великана зеленели простые чулки и такие же простые башмаки, стоптанные на многих дорогах. В одной руке палка, в другой шляпа.

С ужасом и восторгом узнали в великане царя.

Виват, прозвучавший при появлении Усатого, донесся до каждого кабака, забитого пьяницами-ярыгами. Не заглушили того вивата ни шипение ракет, ни пушечные залпы. Да, немало чего случилось в последнее время.

Иван внимательно разглядывал людишек, старался поймать каждое сказанное слово. Кто радуется? Кто опечален? Над чем задумываются? Чего хотят? Не упустил он и высокого человека в немецком кафтане, вдруг пробившегося к стойке, покрытой медным листом. Навстречу человеку сразу встал из-под грозного портрета государя, висящего на стене, целовальник в фартуке. Хорошо знал, *кто и сколько* может оставить в его заведении. Провел новоприбывшего в угол, усадил на скамью под окном, украшенным маленькими цветными стеклышками, поставил на дубовый стол объемистую рюмку анисовой и положил рядом мягкий крендель. Ветер с залива время от времени с силой сотрясал мутные стеклышки, но в теплом заведении уютно вился дым, пахло хлебом и водкой.

Обычно ход Ивана начинался с маленьких кружал, где

трудно встретить знакомого человека; или даже с Меншиковской австении, той, что на набережной. Меншиковской ее прозвали потому, что генерал-губернатор Санкт-Петербурга, переправляясь на лодке через Неву, почти непременно заглядывал на огонек. Здесь следовало вести себя сдержанно, однако Ивану хозяин радовался: хорошо знал в свое время пехотного капитана Саплина. А вот в австерию Четырех фрегатов Иван заходил реже. А если заходил, то сидел тихо и недолго. Зато, нагрузаясь, как хорошая барка, степенно отправлялся в долгий обход уже всех подряд кабаков и австений, поставленных вдоль Крюкова канала. Часто заходил в кабаки совсем простые, где ярыги попривыкли к нему, где он никого не смущал и сам не смущался. На улицах ветер, сырость, холодно, в грязных переулках стерво, вонь, грязь, пока бредешь, укрываясь от ветра, весь перемажешься, а в кабаках сухо, уютно.

В австерию Четырех фрегатов Иван боялся ходить: сюда вполне мог заглянуть сам Усатый. Конечно, Иван никогда такого не видел, но некоторые ярыги клятвенно клялись, что видели Усатого в указанной австении. А зачем встречать Усатого простому человеку? Лучше не надо. О государе ходили разные слухи. К примеру, Кузьма Петрович Матвеев, думный дьяк, сам говорил, что сильно строг царь. Когда назначал в свое время бомбардирского поручика Меншикова губернатором Шлиссельбурга, губернатором лифляндским, корельским и ингерманландским, так и сказал: «Возвышая

вас, думаю не о вашем счастье, но о пользе общей. Кабы знал кого достойнее, конечно, вас бы не произвел». И память, говорил Кузьма Петрович, у государя отменная – он помнит всех, кого видел в лицо.

Иван поежился.

Правда, не дай Господь, войдет Усатый, дернет щекой (в румянце) и укажет на Ивана: ублюдок, дескать, стрелецкий! Почему здесь? Весь род выведу!

Иван усмехнулся. Так дурак может сказать, убивая комара.

А что истинному царю до комара, что истинному царю до дитяти какого-то стрельца, высланного в Сибирь и давно убитого злыми шоромбойскими мужиками? Что истинному царю до какого-то мелкого секретного дьяка? Это тундраной старик-шептун от убожества своего мог гадать: будешь, мол, отмечен вниманием царствующей особы.

– Тише, дурак!..

Иван вздрогнул.

Но это не ему сказали.

Это один казак сказал другому казаку, а тот зло ответил:

– Ты меня не тиши! Про что говорю, про то знаю. Сам есаул такое говорил, не помнишь? Так и говорил: немцы, дескать, Усатого испортили, немцы, дескать, Усатого подменили... – Голос упал до шепота: – Не русский он, говорят...

– Да как так?

– А так... Простой немки сын... Подменили, говорят, ре-

бенком... Подкинули вместо настоящего ребенка немчуру. Потому Усатый и дергается всегда, что не по нраву ему истинный православный дух. – И выругался: – Пагаяро! Всю Россию вырядил в немецкое платье.

– Молчи, дурак!..

Иван невольно поежился.

Вот какие неосторожные люди, эти казаки. Таких и слушать опасно. Даже случайно слушать таких опасно. Лучше уж повернуть ухо к ярыгам.

Иван правда повернул ухо к ярыгам.

– Купи шапку, человек, – сказал один. – Смотри, какая шапка!

– Вижу, что мятая, – возразил другой.

– Да в мятости ль дело? Ты пощупай.

– Чай не баба!

– А ты все равно пощупай, не бойся. Я сроду тебя не обману. Шапка мягкая, как травка. Совсем не простая шапка.

– Я вижу, что не простая. Старая, тертая. Потому-то, наверное, и мягкая, что хорошо тертая.

– Это не овчина, сам погляди. Это шапка из баранца.

– Все одно, овчина.

– А я говорю, совсем не овчина. Не овчина, значит, а баранец!

– Да в чем разница?

– Да в том-то и разница, что шапка с низовьев Волги! Баранец только там растет. Это как бы животное-растение,

и плод оно приносит, совсем похожий на ягненка. Стебель идет через пупок и возвышается на три пяди. Конечно, ноги мохнатые, рогов нет, передняя часть как у рака, а задняя – совершенное мясо. Всегда живет, не сходя с места. До тех пор живет, пока имеет вокруг себя пищу. А потом помирает, если охотники не возьмут.

### 3

Пряча в ладони плохо выбритый подбородок, Иван горбился на лавке, намертво врезанной в пол, чтобы ярыги не позволяли себе употребить ту лавку в драках. В теплом углу все слышно, в теплом углу все видно, в теплом углу тебя никто не видит, не замечает, можно сидеть да помалкивать. Ну а сильно захочется, сам входи в разговор. Но с почтением входи. С уважением. А то, не дай Бог, ударят в лицо, выбросят на улицу. Не поможет тогда и портрет Усатого, вывешенный в кабаке для душевного усмирения.

Чувствовал, крепкое винцо туманит голову.

Еще не пьян, а уже туманит голову. И уже хочется чего-то. Как бы подергивают изнутри мелкие бесы. И застряло в голове произнесенное казаком ругательство – *пагаяро*. Вот что за словечко? Откуда? Будто уже слышал когда-то. Дикое словечко, нечеловеческое. По-хорошему, вообще б уйти от греха, из кабака, спрятаться в опрятном домике доброй соломенной вдовы Саплиной, никого не трогать, и тебя

чтоб никто не трогал. Читать негромко умные книги, замышлять неторопливо добрые дела. А пьяный... Всем известно, от пьяного человека ничего хорошего не жди. От пьяного человека удаляется ангел-хранитель, заступают на его место бесы, вводят в пустой кураж.

Хмыкнув, Иван отмахнулся: да ну, какие бесы? Сегодня же праздник! Зачем спешить домой? Разве он не человек? Зачем прятаться в четырех стенах? Он хочет по-человечески посидеть с людьми.

Но внутри Иван уже понимал: это бесы. Это они, окаянные, нашептывают, свое берут. Томят, собаки, с утра, жарко и хитро подогревают кровь, жадно и хитро гонят ее по жилам. Вот раньше, в Москве, с Иваном такого никогда не случалось. Ну запивал, с кем такого не бывало? – но не так, не вкрутую. Москва сама по себе – город тихий. На холме Покровский собор. Внизу многие городские ворота – Тверские, Пречистенские, Арбатские, Никитские, Серпуховские. Через речку Неглинную переброшен деревянный мост. В Бабьем городке у Крымского моста лениво вертятся крылья мельниц, а с Кузнецкого моста несет нежным древесным дымом. После покойной белой Москвы, после старинных изб, бесчисленных искривленных переулков, после колоколен, палисадов и белых кремлевских стен, если мрачнеющих, то только на закате, мрачный солдатский Санкт-Петербург, плоско простертый по островам, до сих пор казался Ивану нечеловеческим, все его пугало в Санкт-Петербурге,

но, вот странно, влекло. И неестественные плоскости низкого белесого неба, и простор белесой Невы, и всякая речь на площадях, часто нерусская. Игла крепости Петра и Павла отчетливо касалась низкого неба, берега бесконечно тянулись, выказывая устроенные на них пеньковые амбары, гарнизонные цейхгаузы, церкви с голландскими шпицами, мельницы, бедные мазанки, дворцы, смолокурни. И грязь везде. Топь да болота. У каждого въезжающего в город требуют булыжник с души, иначе – шум, наказание.

Нет, скушно подумал Иван, врал тот старик-шептун!

И завтра с ним, с Иваном, и послезавтра с ним ничего не случится. Какое уж тут внимание царствующей особы? Какая дикующая? Чухонка, что ли? Никогда ничего удивительного не случится со мной, скушно сказал себе Иван. Ты не майор Саплин, ты даже не казак с какой-нибудь украины. Ты просто Пробирка. Ты просто дьяк, только называешься секретный. Вот и сиди, дурак Пробирка, в пыльной канцелярии, перетолмачивай чужие книги, учиняй чужие чертежи!

Думал так, а глаза все примечали. И мысли становились хитрей. Ну, плоский город, а все равно... Вот взять бы лодку...

Скушно усмехнулся. Ну возьмешь лодку. Ну даже поплывешь. А куда плыть? Ближе нет никакого края света, только острова. А на каждом острове сидят в правительственных учреждениях чиновники, берут подарки, на пол сплевывают, в простоте своей забывая о политесе. Все врал старик-шептун!

тун! Погибнет он, Иван, здесь, в Санкт-Петербурге. И погибнет ни от чего-то там грозного, даже не оттого, что чужую жизнь проживет, а просто от пьянства. Видно, так у него на роду написано.

Вздохнул.

Как сидел годами над чужими отписками и чертежиками, так, наверное, и впредь буду сидеть. Как пил годами в самых смутных местах, так, наверное, и буду пить. Как попадал во всякие истории много лет, так и буду попадать. И однажды все кончится плохо. Известно, после одиннадцати часов вечера опускаются шлагбаумы на городских заставах. Если ты не лекарь, если ты не солдат по команде, если ты не знатное лицо или священник, так и не думай ходить по улицам. Тут тебе не Москва. Здесь ночи чернее грязи. А коли белая ночь, так еще хуже. Пропадешь где-нибудь на сырых деревянных набережных.

Но и вздыхая, Иван понимал – это бесы его томят. У них, у бесов, это главное дело – смущать ум слабого человека. И чтобы отогнать бесов, чтоб не томиться, выпил сразу двойную с махом. А сам все присматривался, прислушивался.

Вот странно устроен мир.

Думный дьяк Матвеев, добрейший Кузьма Петрович, дружен с самим *Оракулом*, с хитрым Остерманом, может, лучшим дипломатом при государе, да и сам Матвеев призван на все ассамблеи, пьет водку с перцем, играет в шашки с Усатым, а, например, вернуть деревеньки высланного в Сибирь

и погибшего там старшего брата не может. Добрая соломенная вдова Саплина, добрейшая Елизавета Петровна, приходится родной сестрой того же думного дьяка, на устах соломенной вдовы сам Усатый запечатлел поцелуй однажды, а, например, обратиться к государю, напомнить ему о потерявшемся в Сибири майоре не может.

Вот если бы он, Иван...

«Что ты! Что ты! – испугался собственных мыслей. – Разве можно?»

Знал, явись перед ним Усатый, испугался бы до смерти.

Говорят, лицо у царя круглое, с румянцем на щеках, голова высоко поставлена, глаза все видят. Глянет ужасно, пыхнет матросской махоркой, ткнет длинным пальцем в грудь: «Вот, дескать, ты, Ивана Матвеева сын, выблядок стрелецких!.. – и крикнет: – В Сибирь его!» А то еще пошлет каналы рыть. В России много роют каналов.

Ивана передернуло.

Остановись, строго сказал себе. Винца выпито уже не на одну денежку. Остановись, не потакай бесу!

Но остановиться не пожелал.

Глотнул рюмку мятной, заел кусочком паштета.

Остро жалел при этом добрую соломенную вдову Саплину.

*Почему теперь веснами птички не стали красиво петь?*

Доброй соломенной вдове Саплиной в голову не приходит, чем занимается сейчас ее сирота. Да и не надо, чтобы такое приходило в голову. Он, Иван, не позволит себе расстраивать добрейшую Елизавету Петровну. Вот еще один шкалик, и все!.. Один самый последний шкалик, и больше ни на мизинец. Он, Крестинин Иван, дьяк секретный, знает меру. А если еще захочется выпить, так выпьет дома. У него в канцелярии в шкапу с секретными маппами припрятан полуштоф, и дома, в уголку, куда не заглядывает даже девка Нюшка, еще один припрятан. Сейчас он, Иван, последнюю рюмку допьет и, радостный, пойдет к доброй вдове своими ногами. Не на чужой телеге пьяного привезут его, как с песком куль, а сам пойдет. Вдова так удивится, что сама выставит померанцевую. «Утешься, мол, сирота, пригуби рюмочку. Праздник! В мир вступила Россия, шведа побили. Выпей за здоровье государя императора и за здоровье неукротимого майора Саплина. Ведь государь сегодня пускает фейерверки и в его честь».

Врал старик-шептун.

Даже кулаком хотелось грохнуть об стол. Ну зачем обещал старик край земли? Зачем обещал любовь дикующей? Зачем внимание царствующей особы? И еще это. «Чужую жизнь проживешь...» Какую чужую? Как можно прожить чужую жизнь?.. И вообще... Ему, секретному дьяку Ивану Крестинину, как всякому другому божьему человеку, оставлять Санкт-Петербурх более чем на пять месяцев не разре-

шается, да и на те пять месяцев нужно испросить письменное согласие Сената. А до края земли, небось, скакать да скакать все три года!

Врал, старый дурак. Сидеть мне всю остатнюю жизнь за канцелярским столом, залитым чернилами. Я – мышь канцелярская. Я – лоскут ветхий. Еще точнее, Пробирка я.

Истинно, Пробирка.

А то так просто шуршун.

Усмехнулся презрительно: «Ну да, вот такой, как я, дойдет разве до края земли! Жди больше, дойдет!» И сказал себе строго: «Все, Иван, встаем. Самое время встать». И угрозил себе: «Смотри, как сейчас встану!»

Но не встал.

Стало жалко себя.

Вот он сейчас уйдет, а ничтожные ярыги останутся. Вот он уйдет, а казачий десятник, рассевшийся за столом напротив, так и будет бубнить – вот, дескать, еще при царевиче... Так почему я должен уйти?..

Капля к капле – наводнение.

Это кто сказал про наводнение?

А-а-а, это казаки шепчутся. Лиц не видно, низко пригнулись к столу.

– Видел, на берегу, рядом с Троицей, стоит ольха? – совсем негромко шептал один из казаков. – Знающие люди говорят, что нынче Нева подступит к самой ее вершине. Как ударят дожди, как повернет ветер с моря, так вода и подсту-

пит. Говорят, допреж такого не бывало.

А голос уже знакомый:

– Молчи, дурак!..

Все, встаю!

Твердо, окончательно решил встать Иван, но в глубине души, в самой глухой, в самой потаенной ее глубине, в темной бездне, куда даже сам старался не заглядывать, уже понимал – не встанет он, не поднимется со скамьи, никуда не пойдет. С восторгом и страхом чувствовал: подступает час тайный, ужасный. Боялся таких часов, но ждал их. Вдруг мгновенно отступает все святое, чистое, смутную душу скручивает водоворот, летишь, проваливаешься неведомо куда, моргаешь глазами.

Ох, понял с тоской, наверное, шум устрою. Ох, понял с тоской, впаду, наверное, в ничтожество. И сказал себе, смиряясь почти: вот немножко посижу, теперь совсем немножко. Мне ведь хватит глоточка.

Но что-то в нем уже повернулось, уютное тепло разлилось по телу.

Все чаще он поднимал голову, все чаще и внимательнее поглядывал на казачьего десятника, сидевшего напротив него.

Ишь, *пагаяро!*

Глотал горькое винцо, думал – много нынче водится занятного по Санкт-Петербуржским кабакам. Тот же казачий десятник напротив... Сразу видно, прибыл издалека... Пла-

тье на нем простое, морда обветренная, бритая, щеки побиты оспой. Ног под столом не видно, но спорить готов – сапоги на десятнике стоптаны. Издалека, видать, притопал в Санкт-Петербурх, и холщовый мешок при нем, брошен под лавку. Почти пустой мешок... Спрашивается, зачем таскает с собой?.. И глаза острые. О царевиче, вишь, вспомнил...

Тряское болото – петербурхские кабаки.

В Санкт-Петербурхе все на болотах стоит.

Все в Санкт-Петербурхе как бы в плесени. Даже портрет Усатого на стене как бы немножко заплесневел. Правда, и на таком портрете государь строг, как всегда: глаза выпучены и бегают. Тоже присматривается к людишкам, не говорит ли кто лишнее? Подумал даже смиренно: вот бедное животное – человек. Все в нем всегда открыто, все в нем напоказ, ничего не скроешь.

И опять прислушался.

– Говорят, теперь готовятся в Персию... В Персии Гусейн-шах тиранствует... Сильно изможден вином и гаремом, бунты кипят вокруг него... Поход, говорят, готовят...

– А нам в Персию не надо, молчи!

– А чего молчать? Тут не как в якуцком кружале.

– Вот, вот, – указал десятник. И повторил свое: – Пагаяро!

Уже голоса в кабаке роились, как пчелы в улье. И Усатый еще хмурее присматривался с портрета. А я чего? – совсем запутался Иван. Я молчу. И даже нашел силы укорить себя: пьян ведь!.. А недавно хотел уйти... К доброй вдове... Сво-

ими ногами... И пьянство тут не в оправдание. Сам Усатый со стены строго указывает: кто пьян напьется и во пьянстве зло учинит, того не то что простить, того даже особо наказать надобно, потому что пьянство, особо свинское, никому никогда извинять нельзя.

Без Бога ни до порога.

И опять услышал:

– Молчи, дурак! – так громко, будто ему сказали.

Но сказали, понятно, не ему; сказали казаку, который, хватив из кружки, забубнил, горячась:

– Да сам я видел бумаги... Сам подавал бумаги в съезжую...

– Вот сам и попадешь в съезжую!

– Ну, кто Богу не грешен, кто бабушке не внук?.. – не унился казак. – Я ведь чего хочу?..

– Ну?

– Одномыслия... Одиначества... Чтоб всем хорошо было...

– Ишь, чего задумал! А было такое на твоей памяти?

– Сам молчи! Не пестун ты мне! – возмутился казак.

И опять выругался: – Пагаяро!

Иван опустил глаза.

За десятником в простом платье и его приятелем увиделось вдруг далекое, всплыло как из тумана – Сибирь... Казаки, похоже, бывалые... Вон портрет перед ними, а они, хоть и бритые, не боятся Усатого. Видели, небось, многое. Ходи-

ли по Сибири, может, встречали неукротимого майора Саплина... Он не мог там не на шуметь...

Спросить разве?

Остановись, сказал себе, не гневи Бога.

И сам себе возразил: так праздник ведь! Самый последний голяк пенником угощается. Самого шведа побили, не малость! Мир! Двадцать один год сплошная война, а тут сразу мир! Как не выпить на радостях?

И еще подумал: много чудесного в мире. Вот ему, например, старик-шептун такое нагадал!.. Может, даже еще и сбудется, подумал весело, даже с некоторым внутренним бешенством. Это ведь только в канцелярии тишь. Там на больших столах зеркало, отписки, маппы, книги с кунштами, то есть с картинками. Он, Иван, некоторые такие книги домой приносил, вдове интересно. Он, Иван, совсем не простой дьяк, он имеет дело с секретными документами. Когда входит в канцелярию думный дьяк Матвеев, Иван не вздрагивает, не вскакивает, как другие. И Кузьма Петрович зовет его ласково, кличет не Пробиркой, а по имени. Уважает Ивана за ум, за умение, за порядок и чистоту.

Усмехнулся, подумал весело: а вот заговорю с десятником! Я ведь тоже бывал в Сибири. При мне убивцу брали. Дикий парнишка ссек мне палец, а мог голову. Я гусей над сендухой помню. Они летят черны от копоти, так много по Сибири горит костров. Почему, правда, не поговорить с простым десятником?

Молчи, приказал себе. Таким, как ты, язык режут.

Сам себя испугался: при таком кураже и еще не в Сибири?

Вообще-то, Иван боялся нарушить размеренную жизнь – при доброй вдове, при строгой канцелярии. А то было однажды весной, в третий день запоя, что не в кружале, а в храме Божиим так впал в туман, что спокойно, на глазах у всех, с невозмутимой неспешностью, снял крышку с чаши святой воды и крышку ту поставил себе на голову. Хорошо, миряне просто выбросили шалуна вон, а могло кончиться Тайным приказом.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.